

Мы его звали Казик. Имя и фамилию уточнять не буду — зачем это вам. И вообще — это дворовое прозвище. Сам о себе он не без гордости говорил: «Я — Ядерная Смесь». Родом Казик из Города Ветров и Нерушимой Дружбы Ста Народов. По крайней мере, именно так в прошлые времена об этой дружбе часто и пафосно провозглашали с различных высоких партийных закавказских трибун. Казик — живое и вполне наглядное воплощение такой дружбы. Отец у него откликнулся на имя Аршак — следовательно, армянин. Мама — еврейка. Чем занимался отец, Казик не уточнял. Он вообще о нём мало говорил. Мама Дора — из категории мам, умеющих даже больше, чем всё. Знали бы вы, какую она делала долму! А рыба! Фаршированная рыба! Это, я вам замечу, больше, чем рыба! Это воплощённое счастье. Не говоря уж о булочках с корицей — сладких, воздушных, умопомрачительно быстро растворяющихся во ртах дворовой детворы, которой

иногда перепадало такое угощение. Но полностью реализовывала свою генетическую предрасположенность мама Дора по коммерческой части. Продуктовый магазин «На углу», которым она заведовала, так и назывался в просторечии — «Дорин». И так, две крови сплелись. Сочетание еврейской практичности и армянской пылкости явило невообразимую смесь, имя которой мы уже называли. И хотя Город Ветров был витриной межнационального согласия, мама Казика своим мудрым и любящим еврейским сердцем предвосхищала всё, что рано или поздно должно было случиться. И что, в конце концов, случилось в момент самоубийства СССР.

Именно потому мама сделала всё, чтобы её любимый и единственный Казик уехал в Москву. А там, а там... Словом, вы понимаете, что по вполне обоснованным маминым догадкам, Москва — сама по себе Москва. А там и до Тель-Авива рукой подать. Особенно, если в нужную руку во-

Павел Георгиевич Рыков (1945 г.р., Москва) закончил Московский институт культуры (1969), режиссёр. С 1973 года в профессиональной теле-, радиопечатной журналистике в Свердловске, Оренбурге, собкор радио «Маяк». Автор 16 книг поэзии, прозы, драматургии (первый поэтический сборник вышел в издательстве «Московский писатель», 1998). Основатель факультета журналистики в Оренбургском госуниверситете, доцент кафедры журналистики. Публиковался в журналах: «Москва», «Молодая гвардия», «Литературные знакомства», «Дон», «Гостиный Дворъ» и др. Лауреат журналистских и литературных премий, член Международной академии телевидения и радио, Союза писателей России, Ассоциации литераторов Оренбуржья. Живёт и работает в Оренбурге.

время что-нибудь подать. Но об этом вслух речей не велось. Приехал Казик в Москву не на пустое место. В самом центре было у него пристанище у русского сверстника и друга по Городу Ветров. Тот ранее явился покорять столицу (но главным образом — русскую литературу) на год раньше. Друг, надо сказать, устроился неплохо — в самом центре, двух шагах от Главтелеграфа, на ступенях которого кипела жизнь и сплеталась в единое целое грузинская, армянская и азербайджанская речь, перемежаемая только русским сквернословием, поскольку на родном языке не принято на Кавказе выражаться матерно. Берегли гости столицы родное гово- рение от дурного слова, полагая, что для бранных выражений следует использовать мусорную речь братско- го великого народа, который жить не умеет и другим не даёт жить в своё удовольствие.

Теперь следует хотя бы несколько слов уделить внешности героя. Среднего роста, худощав, слегка сутуловат. Несмотря на совершенно ещё молодые годы, начинающий лысеть, но по-умному — со лба. Нос не совсем, но с намёком на крюч- коватость. Рыжие волосы. Голубые, чуть навывкате, глаза. Подбородок с ямочкой под плотоядным ртом. Долгая шея, под которой своей, осо- бой жизнью жил изрядный кадык. Довольно музыкальные пальцы, на- чинающие покрываться рыжеватой волоснёй. Общее выражение лица — смесь провинциального комплек- са неполноценности и молодого, непуганного ещё нахальства. Сло-

вом, красавчик. Столица встретила Казика неласково. Вернее, ласково, но с малоприятными последстви- ями. Поселился он, как я уже имел честь рассказать, у русского земляка. С литературой у того пока случались одни незадачи. Зато работой на све- жем воздухе земляк себя обеспечил, получив в довесок прописку, приют и ласку. Прописку обеспечил ЖЭК — как дворнику. Приют, ласку, и по- ловину дивана обеспечила Настё- на-сластёна — дворничиха во цвете лет с так и неначатым музыкальным образованием, но с голосом, вполне достойным хора им. Пяницкого. Жили они в шестикомнатной, неког- да коммунальной квартире, в неза- памятные годы — барской, в самом центрейшем центре столицы. Про- живали здесь также и другие колле- ги Настёны — люди работающие, по происхождению круто-деревенские, а не какая-нибудь фарца поганая московская, что трётся у «Национа- ля», клянча у иностранцев жвачку и всякое барахло. Был в квартире чулан с полуокном, куда и всели- ли Казика временно, землячества ради. Пылкий, неотразимый и неу- меренно, по дворницким понятиям, разбрасывающийся купюрами, он в один из первых вечеров явился в свой закуток с такой же «пылкой и неотразимой». Барышня имела про- фессиональную привычку не отка- зывать. Всё было исполнено, вклю- чая стоны и всхлипывания, которые больно отзывались на психике со- седок-дворничих. Это была первая «московская» победа! В родном Го- роде Ветров о таком не приходилось

и мечтать. Там свирепствовали суровые, устоявшиеся общественные нравы, а главное — Мама! Тут же, в Москве — все условия, чтобы ощутить себя мужчиной. Но настоящие, сугубо мужские ощущения дали о себе знать на третий день. Как сказал, злорадно засмеявшись, дворничий бригадир Сашка — человек до неимоверности приземлённый, а потому грубый: «Закапало». Земляк, у которого Казик остановился, знал, что в таких случаях надо делать. Закончив подметать свой участок тротуара не где-нибудь, а на улице имени автора хрестоматийного произведения «Девушка и Смерть», он взял Казика за потную от невыразимых страданий руку, и повёл в Козицкий переулочок. Там располагалось некое медучреждение, назовём его «Кожвендиспансер». В кармане лежала припасённая лиловая купюра с профилем Ленина. А что делать? Беду надо избыть. Но прописки у Казика нет. Он всего лишь гость. Или плати, или возвращайся с позором лечиться в Город Ветров, по месту постоянного проживания. Доктор — молодой насмешник в бороде и очках — попросил извлечь на свет божий поражённый орган, оценил его состояние, приказал медсестре взять мазок и сделать промывание. Казик затаил дыхание, когда молодая медсестра проделывала предписанное, и это был первый случай в жизни Казика, когда он не испытывал возбуждения от общения с молодой женщиной, обычно не покидавшее его от избытка врождённой пылкости в любое время дня и ночи. Медсестра

ушла в лабораторию, а Казик покорно ожидал результатов анализа на скамейке в коридоре. Через некоторое, невыносимо тянущееся, время его позвали в кабинет. Доктор протянул ему рецепт.

— А я смогу ещё...

— Сможешь, — сказал доктор. — Но сперва — левомецетин и никаких сношений два месяца. Алкоголь исключить, а то всё лечение насмарку. И впредь — только с кондомом!

— Ара! — восклицал с удивлением и даже осуждением в голосе Казик потом на общей кухне в дворничьей. — Так и сказал: «С гандоном», — и в волнении вознёс указательный палец. — Представляешь, так и сказал. При девушке-медсестре! А? И про сношения тоже при ней сказал.

— Они такие, эти доктора, — заметила Маруся-дворничиха, годившаяся Казик по возрасту в полуматери. — Они — такие... Бесстыжие. А вообще, надо знать, с кем можно и без этого...

И она поправила грудь, буквально разрывающую по швам её москвашвеевский лифчик.

Меж тем два месяца предписанного воздержания пошли на пользу. Казик занялся ввинчиванием, вкручиванием, впихиванием, вталкиванием, вколачиванием себя, любимого, в Москву. Уже тогда столица, подобно пылесосу, втягивала крестьян из окрестных областей и не чувравшихся тяжёлой работы жителей древних русских городов. Первые жертвы ненасытному Молоху были принесены из мест, так и не оправившихся от немецкого нашествия.

Именно русские крестьяне из гибнущих деревень хлынули в Москву за лучшей долей. Они мели дворы и улицы, работали на самых неквалифицированных должностях в цехах пылящих, сопящих, дымящих заводов и заводешек, водили трамваи, работали грузчиками в магазинах и вообще — делали всю самую грязную и непристижную работу, на которую коренные москвичи не шли. Наступало время так называемой «лимиты». Казик тоже обречён был стать «лимитой», как и его земляк-поэт. Того дворницкая доля вполне устраивала потому, что позволяла писать надрывную лирику и разносить по редакциям «толстых» журналов. Литсотрудники, сидящие на «поэтическом самотёке», с отёчными следами творческого напряжения на лицах, неизменно хвалили и ругали одновременно есенинские мотивы, но даже предлагать главному редактору для рассмотрения решительно отказывались. Журналам требовалось нечто соцреалистичное. Но Казика жизнь в дворницкой, хотя и на улице имени великого пролетарского писателя, не устраивала. Как-никак, он имел в кармане комсомольский билет с отметками об уплаченных членских взносах и, между прочим, диплом какого-то техникума, выправленный предусмотрительной мамой. В том же кармане лежал «белый билет», согласно которому армия Казика не грозила. И вот однажды он вернулся с очередного заброда, и глаза его голубые сияли. Он вытащил на берег свой частый бредень с золотой рыбкой. Рыбку звали

ПОЧТА. Да-да, Почта СССР. Все знают синие почтовые ящики и запах разогретого сургуча, без которого невозможно отправить ни посылки, ни ценного письма.

— Ты будешь письма разносить? — спросила его дворницкая общственность.

— Нет! — с гордостью ответил Казик. — Бери выше.

— Возить почту?

— Хе!

— А что же тогда?

— Я — начальник почтового отделения!

— Ах! — только и сказала Маруся-дворничиха. Она не зря предчувствовала: счастье, вновь обретенное ею после излечения Казика, будет недолговечным. Казик же рассказал — почтовое отделение расположено в одном из новых микрорайонов, перенявших имя старинной подмосковной деревни, чью землю поглотил московский удав-констриктор.

— И комнату мне дали в общжитии, — добавил он, — отдельную. И прописку лимитную.

По этому случаю был сварганен скромный банкет: винегрет, колбаса «Отдельная», чуток сальца, привезённого Сашкой-бригадиром с родины из-под Вязьмы. Настёна на скорую руку нажарила «микояновских», как она говорила, кокет. Была и разварная картошка — куда же русскому человеку без картошки. Само собой, водочка «Московская» и портвейн «Три Топорика» для дам. До него, правда, дошло дело, когда опростали водочные бутылки. Не обошлось и без музыки. У Настёны

была радиола и три виниловых пластинок. Две — Брамс и Шуберт. Третья — Вертинский. Брамс ставился, когда ей надо было поругаться с поэтом. В настроении же лирическом любила она слушать Вертинского, что характеризует её с самой положительной стороны. Когда хотелось чего-то «такого», она насаживала Вертинского на штырёк и он только ей одной пел: «В бананово-лимонном Сингапуре». Казик же, ухватив мелодию и размер, переиначил по-своему: «В бананово-сургучном Сингапуре».

— Ах! — говорила Маруся-дворничиха, прислоняясь к Казику всем сердцем, биение которого сотрясало невообразимую её грудь так, что две пуговички из трёх на застёжке лифчика не выдержали этого наплыва чувств и оторвались. — Что вы с моими чувствами делаете? — спрашивала она Казика.

А он ничего такого и не делал, только, как бы в шутку, пытался обеими ладонями объять левую грудь Маруси. На правую же нужны были ещё две руки. Но у него их не было. А всякие другие поползновения, например, Сашки-бригадира, Маруся отвергала начисто. Они, талдомские, — женщины гордые, не какая-нибудь хабалка из кафе «Лира» или недоступные напоказ консерваторские девицы со скрипичами в чёрных чехлах. После отвального банкета Казик стал реже появляться в дворницком прибежище, зажатом между громадой Дома композиторов и ещё большей громадой дома, выходявшего фасадом на улицу имени

Буревестника революции, фасад тот омедален мемориальными досками в память о военачальниках и прочих важных и дорогих для страны людях. Обитатели дома имели счастье в одних трусах наблюдать с высоты места прописки праздничные колонны, направлявшиеся дважды в год в сторону Красной Площади по случаю Дня Великого Октября и Дня Солидарности Трудящихся. В тени эти двух громад дворницкий дом выглядел анахронизмом, обломком старой-старой Москвы. Когда-то мимо разъезжали на «ваньках» господа с холёными бородами и лихо закрученными усами. Господа покупали калачи у Филиппова, молоко и сыры — у Чичкина или Бландова, шустовский коньяк — у Елисеева и не предполагали: некогда, относительно скоро, икра паюсная, зернистая или ястычная, которую они сверхделикатесом не считали, будет доступна лишь избранным из избранных.

Начинать надо было с малого, самого непроговариваемого и неприятного; с самоуничужения, покорности, с сокрытия факта маминого еврейства и выпячивания, елико возможно, армянского, с лёгкой горбинкой носа, не заявляя впрямую, но намекая на сопричастность к великому армянскому народу и даже к самому товарищу Степану Шаумяну — славному предводителю Двадцати шести Бакинских Комиссаров, дальнему-дальнему родственнику по линии двоюродной бабушки отца. Но всё же Казик в дворницкой появлялся. Чаще всего это было связано с воз-

вращениями из побывки в родных местах его земляка, который привозил от мамы Доры гостинцы — большие фанерные укладки. В них содержались бережно упакованные лобастые гранаты, благоухающие яблоки, пахлава и прочие прикаспийские вкусности. Особое место занимали бутылки тёмного стекла с пахучими и сладострастными напитками. Казик брал укладку и направлялся к станции метро «Проспект Маркса», откуда путь его простирался то ли в Коньково-Деревлёво, то ли в Дегунино, то ли в Тропарёво. Точных координат он не сообщал, побаиваясь тягучей, как коровье мычание, ревнивой страсти Маруси-дворничихи, что запросто могла приехать и поговорить по-свойски с почтарками, которые разлучили её с предметом обожания. Однажды он возник в принципиально новом облике. С головы упорхнула характерная «кавказская» кепка-аэродром. Теперь узкополая шляпа увенчивала голову Казика. И шляпа эта была не просто так, но, скорее всего, из магазина польской моды «Ванда». Появился и галстук в цвет с носками. А в руке — элегантная папка из хорошего кожзаменителя на молнии. Дворницкая дара речи лишилась.

— О-ооооо... — на глубоком выдохе произнесла Маруся.

— С повышеньцем! — быстро смекнув в чём дело, произнёс Сашка-бригадир. — С тебя, Казик, причитается, — и от волнения чуть было ни смахнул со стола полстакана недопитого портвешка.

— Ну, ты, Казик, — только и сказа-

ла Настёна-сластёна, — совсем стал Вырви Глазик!

— Да! — без обременяющей скромности сказал Казик. — Я теперь — комсорг куста. Освобождённый.

И это действительно было событием. Вот так: полуникто, лимита, человек, как-то признавшийся по пьяному делу, что он закончил техникум с грехом пополам, маминим стараниями стал московским политическим деятелем. Конечно, районный почтовый куст — не корабельные сосны в Серебряном Бору. Но незримая черта пролегла между ним, человеком с псевдокожаной папкой и этими горемыками, включая земляка и даже друга детства. Казик понимал, что он стал лишь маленьким кем-то, всего лишь! Но пред ним расстилалась уже дорога в аппаратные выси. Да-да, именно туда! Он уже стал номенклатурой Райкома Комсомола — без этого его не утвердили бы в должности. Кстати, первые преимущества своего положения Казик ощутил сразу. Ему сказали: определённого числа каждого месяца он сможет по записке Орготдела отовариваться в райгастрономе. Конечно, всё по-скромному. Без особых затей и по общей цене. Ясно, райгастроном — это не цековский спепцраспределитель на улице Грановского и не Сотый отдел в ГУМе. Но Казик хорошо запомнил древнюю китайскую мудрость из какой-то сказки: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Между прочим, Казик — парень хваткий. Он в почтовом отделении своём навёл идеальный порядок. Во-первых,

где-то раздобыл и повесил портрет Генсека работы замечательного архисоветского художника Налбандяна — копию конечно же. Во-вторых, своего зама Замотаеву, которая вечно воду мутила, сжил со свету (уволил за нарушение тайны переписки — вскрывала, дура, и любопытства ради читала письма, проходившие через её руки). И много всякого разного, о чём писать не буду за неимением желаний и места. Ставши освобождённым комсоргом, начал наращивать численность организации, вовлекая в члены неосоюзненных девушек-почтарок и даже женщин, пребывающих на последних возрастных рубежах. Чем он их брал — неясно. Казик клялся и божился, что мужские свои чары не употреблял. Он на работе — ни-ни! Вообще вёл себя на людях почти как монах, если не считать залётов в дворницкую персонально к Марусечке, с которой делился деликатесами из комсомольского пайка. А та, в свою очередь, хвасталась перед товарками то выеденными баночками из-под рижских шпрот, то умопомрачительно-красивыми банками зелёного горошка с надписью на иностранном: «GLOBUS». Марусино счастье усиливалось не по дням, а по часам. Особенно потому, что товарки осуждали её светлые чувства, а по сути, завидовали. А что может быть слаще для женщины, чем зависть товарки! Одна Настёна, входяжая в Дом Композиторов, где убиралась за приплату в квартире у богатой композиторской вдовы, не завидовала подруге, ибо к Настёниной, также не маленькой,

груди было кому припадать. Как-никак, поэт каждый вечер укладывался рядышком на диван. Казик меж тем рос политически и стал известен в узких, но всё-таки достаточно широких комсомольских кругах, организовав массовый выезд почтовых работниц по Павелецкой дороге в Горки Ленинские. Такая акция не прошла мимо зорких глаз комсомольских журналистов. И городская газета (в те поры — истово комсомольская) дала об этом событии заметку с фотографией. На ней наш герой был запечатлён с тремя самыми комсомолистами комсомолками. Пять экземпляров газеты тут же были отправлены ценной бандеролью в Город Ветров маме. Три — принесены в Дворницкую. Однако подлец Сашка-бригадир на одну тут же демонстративно почистил селёдку. Конечно, не со злого сердца, а по пьяному недомыслию, как он потом оправдывался. Вскоре Казика пригласили в райком то ли Ховрино, то ли Бибирево и взяли на штатную аппаратную должность. О! Всё разом поменялось: и осанка, и галстук, и даже цвет глаз. Из просто голубого он сделался прямо-таки прожигающим. Марусечка вынуждена была перейти при общении с Казиком даже в минуты самые наиинтимнейшие на «вы». Казик по-доброму, покровительственно похлопывал по плечу своего земляка, по-прежнему совмещавшего дворницкую долю с писательством, выражая ему сочувствие. Словом, всё было более чем хорошо. И вдруг!!! А собственно говоря, почему «вдруг»? В этой жизни ниче-

го случайного — с фонарём ищи — не встретишь. Тем более в те годы, которые мы сейчас вспоминаем. Тогда страна, слава богу, жила по законам диалектического материализма. Друг Казика — дворник-поэт — уже почти потерявший надежду войти в монолитные ряды СовПиссов, как раз сочинял рассказ о влиянии диалектического материализма на жизнь простого лимитчика. Рассказ был полон экспрессии, исторического оптимизма опутывавшего всю нашу жизнь, подобно колючей проволоке. Герой — молодой, полный сил и не растроченной сексуальной энергии слесарь-сантехник — влюбился в девушку из композиторского дома, где постоянно приходилось чистить засоры в фановых трубах. И вот, в тот самый момент, когда надо было заканчивать рассказ походом героев в концертный зал Дома Композиторов (накануне долгожданного соития) на выступление ансамбля «Мадригал», в Дворницкую ворвался Казик, смешав все творческие планы. Он был жуток в неподдельном горе, круто замешанном на смертельном страхе.

— Что? Опять трипак поймал? — цинично спросил его друг-писатель.

— Ара, хуже.

И он начал сбивчиво рассказывать: комсомольская его судьба не могла сложиться удачно, поскольку контрразведка райкома прознала про маму Дору, про её отчество — Израильевна и девичью фамилию Розенштерн, и всё остальное. И никакой армянский папа мамыны поражаящие факторы перебить не смог. Да и сам Казик понимал: по ап-

паратной лестнице как ни карабкайся, а секретарских высот не достичь. И приварок в комсомоле не густ. А молодой организм требует белки-желтки-витамины. И тут на одном из комсомольских активов встретила его полудевушка-полутётенька, которая присоветовала переходить к ней, в одно ведомство союзного масштаба, занимавшееся организацией профессионально-технического воспитания и образования будущих строителей светлого будущего. Там как раз требовался молодой, энергичный, хваткий специалист в хозуправление вышеупомянутого ведомства. И Казик начал оформляться. Кроме всего прочего, надо было пройти медицинское освидетельствование в ведомственной поликлинике. Пока смотрели ухо-горло-нос, всё было хорошо. С дефекацией и мочеиспусканием — никаких вопросов. Дыхание — чистое. Давление — как у водолаза-глубоководника. Осталось пройти врача-психиатра... Врач — немолодая, но и совсем даже не старая женщина с пристальным взглядом и обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки, тихонько так поинтересовалась:

— А почему вы, с таким-то отменным здоровьем, не были призваны в ряды Советской армии и Военно-Морского флота?

Казик тут же полез в карман и выложил красную книжку военного билета, в которой имелась запись со ссылкой на какие-то статьи и закорючки, согласно которым он не подлежал призыву даже в военное время в обозные части. В своё время

мама выправила именно такую железобетонную отмазку от призыва. И одному Богу известно, чего ей это стоило. А отец Казика, этот придурок, сидел во дворе, целыми днями играя в нарды с такими же придурком дядюшкой Али, рассказывая в тысячный раз: отрубил положенное матросом второй статьи на крейсере Тихоокеанского флота — и ничего. Врач посмотрела на Казика профессионально-пронзительным взглядом, улыбнулась так тонко — улыбка практически незаметна — и сказала: «Согласно статье в «белом билете», у вас, молодой человек, взгляд должен быть отсутствующим. А слюна — непрерывно течь из уголка расслабленного рта».

— Что делать? — трагическим шепотком спросил Казик.

— Думайте, молодой человек, — ответила врач. — Думайте. Сегодня пятница. До конца рабочего дня — ещё пять часов... — и положила «белый билет» в ящик стола вместе с другими меддокументами соискателя должности. — Думайте.

— Ай-вай!

А что тут думать! Нечего и думать. Тут один способ — надо спастись. Слава богу, а также аллаху, которые в те годы совершенно не котировались в общественном сознании, но, по-видимому, исполняли обязанности по спасению терпящих бедствие, уровень расценок за спасение был куда ниже, чем в теперешние времена, обильные на молитвы. Психиатрша, выведав название города, откуда прибыл в Москву Казик, с мечтательностью в голосе вспомнила

виноград, гранаты и прочие радости жизни. столь несправедливо доставшиеся одним, считай, задаром, но перепадающие другим гражданам СССР, можно сказать, по немыслимо высоким ценам.

— Что же ты не забрал билет? — спросил поэт.

— Испугался, — чистосердечно признался Казик.

Бригадир Сашка, присутствовавший при разговоре мрачно, с похмельинкой в голосе, заметил:

— Теперь тебя в трибунал, как дезертира. У нас в деревне во время войны двоих мужиков шпокнули за дезертирство. Нэкзведешники. С автомата — тррррррр. Я потом стреляных гильз набрал десять штук. Латунные.

После таких варварских воспоминаний Казик совсем засмурнел. Куда девалась голубизна глаз! А кадык... кадык заходил, как поршень в огородном насосе: вверх-вниз.

— Так! — сказал друг, — отрешаясь от творческого транса. Он, хоть и лирик, а значит, не от мира сего, кое в чём, живя в Москве, поднаторел. — Надо заносить, раз она тебя сразу в милицию не сдала.

— Кого заносить? — спросил Казик.

— Не кого, а что!

— И что?

— Поедешь на Цветной... Нет, вместе поедем. На Центральный рынок. Там купим корзину и фрукты для докторицы.

— Тит твою! — взорвался Сашка. — Да там, на Центральном, цены знаешь какие! Зербайжаны три шту-

ры дерут. Пошли на Гнездниковский переулок в овощной магазин. Там Нинка торгует. Мы ей шурлы-мурлы, а она апельсинов из подсобки вынесет.

— Санька, — сказал поэт, — ты ещё присоветуй портвешка прикупить...

На Центральном купили самые отборные тёмно-оранжевые гранаты, красные с зелёной отметинкой яблоки, фиолетовый инжир, грузные кисти чёрного винограда и зелёные грозди «дамских пальчиков». Была приобретена роскошная, ивового плетения объёмистая корзина, покрытая светлым лаком, куда были красиво уложены яства. А напоследок добавлены чищенные грецкие орехи и несколько палочек чурчхелы. Этакая, знаете ли, закавказская благодать. Кстати, и по цене получилось выгадать. Всё-таки знание языка, которое выказали при совершении покупок и Казик, и Поэт, помогло отжать некоторое количество столь дорогих рублей. Но и без алкоголя нельзя было к доброй докторице глаз казать. Поэт пообещал бутылку «Агстафы» из личного НЗ выделить. А где коньяк хороший брать? Пришлось рысью шпарить в ресторан «Баку». Там у поэта был друг-повар, большой ценитель великого баснописца Сабира. Он-то помог раздобыть заветную бутылку уникального коньяка «Гёк-Гель» с красочной этикеткой, на которой красовалось Голубое озеро, подарившее своё имя напитку. Когда с покупками было покончено, Марусенька прижала Казика к груди, затем перекрестила в путь-дорожку. Укутала корзину

сверху белой бязью и Казик отправился доказывать, что он не такой уж и дурак, как написано в военном билете. В дворницкой наш герой появился на третий день. Всё это время общество гадало о его судьбе. Дворничиха Василина по просьбе Марусеньки даже карты раскладывала на бубнового короля. И выходила ему долгая дорога и казённый дом. Подлец Сашка-бригадир терзал бедную женщину разговором о том, что теперь придётся возить передачи для Казика в Бутырку и советовал везти чеснок, лук и свиное сало. А Настёна пообещала выделить для таких благородных целей банку крыжовенного варенья. Но ничего никуда везти не пришлось. Казик вошёл в дворницкую, помахивая папочкой, и сказал: все проблемы решены положительно. Другу-поэту шепнул на ушко, удовлетворённо прихрюкнув при этом:

— Клянусь мамой: Марина Станиславовна — докторша — всё приняла благосклонно и даже, старик, сверх того не отказалась. А я и постарался... Знаешь, пансионат на Клязьме... Суббота, воскресенье... Напиши для меня что-нибудь романтическое, в рифму...

Тут, собственно, можно было и закончить рассказ про Казика и его плутни. Да что-то не заканчивается. Всё шло своим чередом. Мы знали о нём немного, но знали. Казик довольно быстро «вписался» в систему, зашагал по ступенькам (а потом и через две ступеньки) по служебной лестнице. Потом узнали, что он женился. Да удачно и со

смыслом. Следом Казик, не покидая Москвы, обзавёлся в Городе Ветров дипломом о высшем образовании. И опять, позволим себе предположить, в дело вступала мама, хотя, при его теперешней должности в самой Москве, в директивном Союзном ведомстве да при столь влиятельном тесте можно было маму и не беспокоить. А там и диссертация по педагогике подоспела на тему о том, сколь благотворно действует трудовое воспитание на формирование у подростков обоёго пола коммунистического мировоззрения в советском многонациональном обществе. Казик основательно полысел, приосанился. И на метро больше не ездил, поскольку за ним была закреплена машина. Да собственными «Жигулями» обзавёлся. И вот, надо ж тебе! Кончился застой! Затем грянули сначала гласность, потом перестройка. Потом... Боже ж ты мой, какие страшные времена настали! Армянского папу Казика во время погрома в Городе Ветров и Вечной Дружбы 100 Народов прямо во дворе зарезал штык-ножом приехавший из деревни, что под Ленкоранью, племянник дядюшки Али. Того самого, с которым Аршак, папа Казика, много лет тихо-мирно поигрывал в нарды в тени развесистого тутового дерева, с незапамятных лет росшего во дворе. А что революционеры сделали со старенькой мамой Дорой из-за её магазина, золотых колец, серёжек с сапфирами, ковров и шести сервизов, среди которых самым-самым был сервиз «Мадонна»! О, Бог ты мой! Что они с ней сделали!

А Казик ничем помочь не мог.

...Много-много лет спустя отец Ириной — так теперь обращались к другу Казика, некогда дворнику и поэту, прибыл с группой паломников-прихожан одного подмосковного храма, в котором он настоятельствовал, в Святую Землю. В аэропорту «Бен-Гурион» их встречал услужливый представитель местной паломнической фирмы, который тут же предложил выгодно поменять доллары на шекели и повёл паломников в автобус. Там и проходил чендж. Представитель бойко отсчитывал положенное. Паломники с любопытством и некоторым недоверием разглядывали новые для них еврейские деньги. Несмотря на поздний вечер, было жарко и душно. Тяжелее всех приходилось о. Ириной. Сказывался вес — он с годами сильно погрузнел. Ноги после долгого сидения в самолёте отекали. Да к тому же давали о себе знать эмфизема лёгких и давние проблемы с сердцем. Он заторопился забраться в автобус и стал ждать, когда заработает двигатель и включится кондиционер. Наконец, паломники расселись по местам. Водитель — сухопарый, весьма пожилой человек в чёрной кипе на сильно полысевшей голове — как она только держится — закрыв лючки багажных отсеков, куда уложены были чемоданы, вошёл в затемнённый автобус. На русском языке, через микрофон, поприветствовал группу и поздравил со счастливым прибытием в государство Израиль. Затем привычно уселся на водительское место и нажал кнопку

стартёра. Что-то в облике водителя и голосе его показалось о. Иринею знакомым. А что? Надо бы повспоминать, поперебирать в памяти. Вроде бы почудился некий акцент — не акцент, и интонация... Давненько он не слышал привычный говорок. Вспомнить бы... Разглядеть бы водителя... Но не до того — кондиционер начал наконец-то гнать прохладный воздух. Да к тому же разглядыванию не способствовали проблемы со зрением и затемнённые стёкла очков. Он перекрестился, закрыл глаза, а потом и вовсе задремал. Путь до Иерусалима был не близким. Священник просыпался и вновь погружался в дремоту. И опять возвращался к бодрствованию. Он уже начинал жалеть, что согласился на поездку, тем более руководителем группы, хотя это позволило снизить личные затраты. Сердце давало о себе знать, словно возмущалось длинным перелётом и этой долгой дорогой, и потому вновь и вновь о. Иринею читал про себя Иисусову молитву. Никаких стихов он давно не писал. Только воскресные проповеди. Впрочем, недавно, набирая текст на компьютере, увеличил шрифт. Строчки укоротились. Распечатав набранное, он улыбнулся и собрал бороду в горсть; получилось нечто вроде верлибра. Когда-то в дворничкой его верлибры не находили понимания слушающих. Сашка-бригадир самонадеянно заявлял, что сам так может, только бы кто налил. А вот стихи про заветное, про любовь дворничихам нравились. Особенно Марусечке. Но наконец-то автобус взобрался в гору.

Вот и Иерусалим. Слава Тебе, Господи! Завтра они посетят Храм Гроба Господня. О. Иринею представил, как, минуя колонны, рассечённые, по преданию, Благодатным огнём, войдёт в двери Храма Гроба Господня, поклонится Камню Помазания, а затем поведёт свою группу вокруг Кувуклии ко входу в неё... Но вот и конец пути. Остановились подле гостиницы. Водитель вышел первым и открыл полости с чемоданами. Паломники разбирали свои пожитки. Всем командовала помощница батюшки — сверхэнергичная прихожанка Татьяна Сергеевна, в прошлом — доктор химических наук, а ныне — истинно и глубоко уверовавшая, ведающая делами в церковной лавке. Но кто, кто этот водитель в кипе? Неужели?.. У о. Иринея почти сорвалось с уст давнее дворовое прозвище: Казик. Неужели Казик? Здесь? В Иерусалиме? Простой водитель автобуса? Водитель взглянул в глаза о. Иринею. Но в его взгляде не было и тени того напряжения, которое неизбежно сопутствует процессу узнавания. Так — посмотрел — и всё. Да и неудивительно. Попробуй, разгляди за густоющей седой бородой, разросшимися бровями, затемнёнными стёклами очков, укрывающими глаза в обрамлении отёчных век, давнего друга, след которого за ненадобностью утерян много лет назад. Впрочем, Казик ли это? Или некто похожий на изрядно постаревшего, некогда вёрткого и удачливого уроженца Города Ветров и Ста Народов, что жили рядом в добром, но теперь навеки порушенном

согласии. Как, однако, распорядился Господь их судьбами!!! Всё изменилось до неузнавания... Почему? А, главное, за какие прегрешения всё то, что произошло? И с ним, и с этим водителем иерусалимского автобуса, если это и впрямь он, столь похожий и одновременно не похо-

жий на Казика? Кто сможет ответить на этот вопрос? Да и следует ли искать ответ? В конце концов, это не имеет никакого смысла пред лицом Всевышнего, чьё местопребывание здесь, в граде Иерусалиме никто не дерзает подвергать сомнению.

Оренбург